

Сергей
Кузнецов

Учитель ДЫМОВ

Роман



Издательство
АСТ
Москва

Пролог

Нина падает лицом в снег — и сразу резкая боль в ноге, багровые круги перед глазами. Неужели сломала? Как же она вернется? А может, голова от голода кружится, оттого и круги, а что в ноге боль такая, будто в лодыжку вбили старый ржавый гвоздь, так надо только встать, и все будет хорошо, и Нина пойдет дальше, и все будет хорошо, наберет еще брусничных листьев, и все будет хорошо, и вернется домой, к своей Жене.

Только надо немного полежать, собраться с силами.

Нина переворачивается на спину, пытается смахнуть прилипший к лицу снег. Вот, так-то лучше. Видны ели, все укутанные, красивые, сказочные. И небо — тоже красивое, синее, точнее — темно-синее. Если бы не деревья, увидела бы алую полосу заката, но если еще вот так полежать, увидишь

и звезды, и месяц, то есть наступит ночь, и тогда уж точно отсюда не выберешься.

Поэтому — надо встать.

Нина садится — неловкая, закутанная в какие-то кофты и тряпки, — пытается подняться, опирается на правую ногу (вроде все хорошо, ничего не болит), потом переносит вес на левую и от боли едва снова не падает.

Значит, все-таки поломала. Или вывихнула. Сейчас неважно — вывихнула, поломала, сейчас главное — вернуться в деревню, а там кто-нибудь из старух посмотрит, скажет, что делать.

Нина пытается прыгать, опираясь на здоровую ногу. Нет, никак. Может, на ровном месте, на московском асфальте, у нее бы и получилось проскакать километр, но не здесь, в лесу, по колено в снегу, а то и по пояс.

Значит, нужна палка. Надо доползти вон до той ели, срезать нижний сук... какая Нина все-таки умница, что взяла с собой нож. То есть какая была бы дура, если бы не взяла, — кто же в лес идет без ножа? Хотя всегда удивлялась — зачем нож в лесу? От волков не поможет, а дрова рубить — так лучше топор.

Да, топор бы не помешал, придется сейчас эту ветку ножом пилить... но сначала надо доползти.

И Нина ползет.

Снег забивается в рукава, обжигает запястья. Левая нога вспыхивает болью на каждое движение, и в глазах темнеет — то ли Нина сейчас потеряет сознание, то ли солнце совсем зашло.

Надо доползти до вон той ели, повторяет про себя Нина, надо спилить этот проклятый сук, попытаться встать, дойти до опушки — о боже, кило-

метр, по снегу, с поломанной ногой! И надо успеть, пока совсем не стемнело, потому что в темноте... да, в темноте Нина наверняка собьется с пути. Надо дойти хотя бы до опушки, а там уже дорога, прямо к деревне, оттуда-то Нина доберется, там-то она все знает. Там минут десять до первой избы — ну, это если на двух ногах — десять, а так — все полчаса, и нет, Нина не пойдет в первую избу, если останется хоть немного сил, дотянет до второй, где живет Алена, вот кто ей поможет, точно.

Осмотрит ногу, скажет, что дальше делать.

Главное, не думать, как быть, если это действительно перелом. Потому что тогда — как же она будет работать? На что они будут жить? Женя одна двоих не прокормит.

Так что, если это перелом, может, и не надо ползти? Вот взять — и остаться здесь, Женя уже взрослая, тринадцать лет, лучше совсем без матери, чем с матерью-инвалидом...

Нет, нет, нет, это чушь какая-то. Даже не думай о таком, думай только про ближайшую цель: доползти до ели.

А что будет потом — потом и узнаем.

Но Женю она одну не оставит — нет уж! — и Нина делает еще один рывок сквозь колючий слежавшийся снег и вцепляется пальцами в заиндеветый корявый ствол. Подтягивается к ели двумя руками, с трудом садится, прислонившись к дереву спиной.

Теперь надо достать нож, говорит она себе. Снять мешок, залезть в мешок, достать нож. Главное, чтобы я его не вытрясла по дороге, как последняя разиня.

Разиня? Нет, она давно уже не разиня. Ни на пристани, ни на барже, ни на вокзалах не увидели у них с Женей ни одного узла, ни одного чемодана... чемодан, впрочем, и был один, фанерный, хлипкий, где лежали нарядные кофточка, сборник рассказов Чехова и вложенная в него единственная Сашина фотография. Кофточка давно выменяли на еду, Чехов сгинул в первом доме, куда их поселили, — небось, хозяйка-сволочь, Пелагея Ивановна, сперла, пустила на самокрутки или на растопку. Хорошо еще, что фотографию Женя под подушкой прятала. Вот ведь, совсем отца не помнит, а любит, как и положено дочке.

Ну, вот он, нож. Теперь, значит, за дело.

Замерзшее дерево почти не поддается, и Нина скребет его, снимая у основания ветки сначала кору, а потом — слой за слоем — древесину.

Была бы я бобром, думает она, могла бы зубами.

Впрочем, что за чушь? Была бы я бобром, я бы здесь сдохла давно.

Интересно, если бобра переселить из его ручья в совсем другой ручей, он освоится или нет? С другой стороны, кто знает наперед? Кто бы Нине сказал, что она, городская женщина, москвичка, будет собирать под снегом листья брусники или, того хуже, пилить еловую ветку ножом?

А кто бы сказал, что их будут эвакуировать на баржах, как скот, лес или уголь? Кто бы сказал, что немцы дойдут до Волги? Что Нина увидит, как фашистская бомба падает прямо за бортом, в каких-нибудь пяти метрах от нее с Женей, и ледяные брызги летят прямо в лицо?

Женя тогда была еще маленькая — испугалась и заплакала. Сейчас бы, конечно... ну, наконец-то! Нина вцепляется в еловый сук руками, повисает на нем всем весом, на голову сыпется с верхних ветвей рыхлый снег, а потом раздается хруст, и Нина падает в сугроб.

Получилось. Только надо найти нож в снегу, а то мало ли... еще пригодится. Значит, нож в мешок, мешок — за спину, сук в левую руку... ну, попробуем.

Нина прыгает раз, потом второй. Переводит дыхание. Ничего, можно. Главное — не сбиться с пути. Пока не стемнело, будет идти по собственным следам, заодно и снегу поменьше. Давай, Нина, давай! Только бы добраться до опушки, там уже недалеко, там ты точно не заблудишься.

Главное — помнить, зачем ты все это делаешь. Ты должна вернуться, потому что, если ты не вернешься, Женя останется совсем одна. А останется одна — никто о ней не позаботится. Алена, может, и была бы рада, но у нее своих пятеро и брат парализованный, куда ей еще одна малолетка?

Давай, Нина, давай! Ты же помнишь — кроме тебя, у Жени-то и нет никого. Ты должна вернуться!

Не для того же ты пережила эти две страшные зимы, чтобы сгинуть в лесу, в полудне от дома? Давай, прыжок, еще прыжок... вот завтра Алена обещала натопить баню, хотя бы тогда согреешься, верно? Хотя Женя до сих пор бани боится — с тех пор как Пелагея нам трубу закрыла и мы чуть не угорели. Нина тогда Женю — в одеяло и прямо в снег, за порог, а сама выскочила как была, голая, на радость соседским мальчишкам.

Пришла потом к Пелагее, спрашивает: что же ты, сука, делаешь? Ты нас что, убить хотела? Мало тебе того, что ты у нас по мелочи тырила, решила по-крупному разжиться?

Та, конечно, в ответ: да я случайно, да ты чего, Нин, как я могла, у тебя ж дите малое! Хорошо, что Алена услышала, сказала: брось ты ее, старую ведьму, давай со своей девкой ко мне.

Так вот и живут в одной избе: Алена со своими пятью и парализованным братом да Нина с Женей — *выковырянные*, как их здесь называют.

Ну, то есть, эвакуированные.

Нет, не надо, значит, думать про баню. Лучше вспомни что-нибудь из прошлого, из счастливого довоенного прошлого. Из тех времен, когда еще был жив Саша. Вспомни, что он тебе говорил, как тебя называл. Моя милая. Лапочка. Ниночка моя. А Женю — помнишь, как он называл Женю? Наш воробышек. Ты еще спросила: «Саш, почему воробышек?» — а он ответил: у нее волосенки на затылке торчат, как всклокоченные перья.

Ну, пусть будет воробышек.

Волосы, кстати, до сих пор такие, что любая расческа ломается, — взъерошенные.

Ох, Женя, птичка моя.

Как было бы хорошо верить, что Саша не превратился в ничто, не распался на атомы. Свекровь моя, Марина Прокофьевна, пока была жива, всегда говорила: в Бога — это вы как хотите, можете не верить, а вот вечная жизнь моему Сашеньке положена.

Ну что, Саша, видишь твою лапочку, твою Ниночку? Не узнаешь, небось, в этих семи одежках,

круглую как шар, с красным лицом, с поломанной левой ногой. Прыг-скок, прыг-скок. Я тоже теперь, значит, как воробышек.

Давай, Саша, смотри на меня, гордись мной! Половина дороги, я уверена, половина дороги! А еще не стемнело, еще есть время, так что да, я доберусь, допрыгаю, доскачу... до опушки, а потом — прямиком до деревни, до Алениной избы, а там ждет меня Женя, Женечка, доченька моя... наша с тобой, Саша, доченька!

Все, нет больше сил, надо передохнуть. Только не садись в снег, потом не встанешь. Прислонись к дереву, вот так. Палку свою из рук не выпускай, глаза не закрывай, а то будет как у Некрасова — *улыбка у бедной вдовицы играет на бледных губах*, — а нам этого не надо, нам только передохнуть — и скакать дальше.

Ладно, считай до ста — и вперед! Главное — не сбиться со счета, не ставить после двадцати девяти снова двадцать, не жульничать, не выторговывать лишние десять секунд передышки.

А это что за звук? Низкий и протяжный, ни с чем не спутаешь. Да, зря ты, Нина, остановилась — так бы за хрустом снега и не расслышала волчьего воя, может, было бы не так страшно. А теперь — да, теперь придется прыгать еще быстрее, потому что ты ж не деревенская, ты же не умеешь на слух определить, далеко волки, близко или вообще за соседним деревом, сидят, задрав морды к небу, воют и ждут, пока добыча сама прискачет, на правой ноге да еловой клюке.

А вот еще Алена говорила, был в соседней деревне случай: жила у одной старухи *выковырянная* се-

мья, ну, так старуха свою внучку послала якобы им показать, где в лесу большой брусничник, а внучка их к лесу отвела, дорогу в самую глубокую чашу указала и бросила. Хорошо, встретился им случайно какой-то добрый человек, вывел к людям, а то съели бы всех волки, никто б и не понял, что случилось.

Нина, когда это услышала, рассмеялась: ладно, мол, Алена, это же сказка про мальчика-с-пальчик: завели в чашу и бросили, потому что есть было нечего! Что ты мне рассказываешь про соседнюю деревню?

Алена еще обиделась, сказала: а ты думаешь, сказки откуда берутся? Вот так оно и бывает: как голод, так тебе и людоеды, и в лес на верную смерть, и в бане заслоночку задвинуть, чтоб ты с доченькой твоей поскорей угорела! Сама едва спаслась, а туда же — сказки!

Да, когда Нина вернется в Москву — если вернется, — она никогда не будет смеяться над сказками. *Ложь, да в ней намек.* Чем страшнее, тем правдивей. Вот и волчий вой вроде всё ближе и ближе. Похожа ли ты, Нина, на Красную Шапочку? Только вместо пирожка несешь брусничные листья, а вместо бабушки у тебя — девочка. Да и охотников — или дровосеков — поблизости не видать, все на фронте, бьют проклятого немца, чтоб ему пусто было.

А у тебя, Нина, свой фронт, своя война. Ты давай, прыгай — правая нога, еловая клюка, правая нога, еловая клюка — вот и доскачешь до опушки; пока хоть что-то видно, не собьешься с пути. Потому что ты повторяешь, как волшебное заклинание: Женя, Женя, Женя. Тебя ждет Женя, твоя дочка, твой воробышек, птенчик твой.

Пусть ваш Саша смотрит на тебя с небес — он знает, тебе еще рано к нему. Давай, Нина, давай, осталось совсем немножко!

Она доскачет до опушки, когда уже стемнеет, и потом, в темноте, еще час будет ковылять, приволакивая опухшую, пульсирующую от боли левую ногу. Не постучит в первую избу, доберется до Алениной двери, рухнет прямо в сених, и Женя подбежит к ней, причитая: *мама, мама, ну наконец-то!*

Да, на своей персональной, одинокой войне Нина выигрывает этот бой, а наутро у нее начнется жар, она будет метаться, повторяя в бреду бессмысленные, бессвязные слова, обрывки стихотворных строчек, имена тех, кого давно нет, и через два дня умрет на руках у Алены. Перед самой смертью к Нине вернется сознание и она успеет сказать: *Женя, Женечка, как же ты? Не оставляйте, не оставляйте ее, она пропадет, пропадет одна!* — а потом глаза ее замрут, неподвижно уставившись в далекую, невидимую точку, и маленькая Женя, сирота тринадцати лет, горько зарыдает, вцепившись в остывающую мамину руку.

1

Зимний свет падает из окна. Она стоит в дверях, и мужчина, сидящий за столом, выглядит темным контуром, почти тенью.

Спустя много лет она, как и многие старики, будет жаловаться на склероз и, возможно, не захочет сознаться даже самой себе, что вот этот силуэт никогда не изгладится из памяти, словно выгравированный намертво, и в тот день, когда Андрей пройдет на кухню, сядет спиной к окну и опустит коротко стриженную голову, старое воспоминание опять вернется, неотвратимое, не желающее исчезать.

Наверное, виной всему зимний свет, зимний свет за окном или короткая стрижка, что бывает в моде лишь у тех, кому никогда не брили голову перед отправкой на фронт или в лагерь, лишь у поколения, не знавшего тифа и вшей.

Много лет назад, тем самым зимним днем 1947 года, она еще из прихожей слышала мужской голос, столь непривычный в квартире тети Маши. Впрочем, она говорила «тетя Маша» только про себя: Мария Михайловна настаивала, чтобы племянница обращалась к ней по имени-отчеству, хотя та всегда звала ее «тетя Маша», ну, раньше, когда до войны они приходили сюда, в этот странный богатый дом, в чудесную отдельную квартиру с двумя комнатами и кухней. Здесь было просторно, как во дворце, и, как во дворце, здесь жила своя принцесса: голубоглазая, светловолосая Оленька, красавица в черных лакированных туфельках и шелковых платьях — нереальных, почти кукольных. Таким же кукольным было и Оленькино лицо: тонкие черты, фарфоровая белизна, легкий, словно нарисованный румянец и губки, с самого раннего детства сложенные в капризную гримаску, которая только иногда уступала место мимолетной игривой улыбке, пробегавшей, точно случайная рябь по застывшей воде дачного пруда. Оленькина улыбка была очаровательна и внезапна, и потому каждый раз она не сводила глаз с двоюродной сестры в надежде поймать миг, когда кукольное лицо озарится этим проблеском счастья — невозможного, почти недосяжимого.

Но была ли Оленька счастлива?

В том давнем довоенном мире она жила образцовой советской жизнью девочки из привилегированной семьи, не знавшей не только нищеты и голода, но даже бытовой тоски коммуналок: через два года после того, как она появилась на свет в роддо-